

Лизе

Все, о чем рассказывается ниже, — от начала и до конца плод фантазии автора. Любое сходство героев с реальными людьми, равно здравствующими, так и ушедшими из жизни — дело чистого случая.

Александр Пиралов

*Завтра познает любовь не любивший ни разу,
И тот, кто уже отлюбил, завтра познает любовь.*

Джон Фаулз. «Волхв»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

И тогда в своем желтом осеннем пальтишке она вдруг напомнила мне струйку апельсинового сока...

Пройдет некоторое время, и я буду воспринимать ее прежде всего именно в цвете нарцисса. Вне этого цвета она будет уже не совсем моя дочь.

Впрочем, это уже из области фантазий.

Как бы то ни было, но с этой минуты все, что я буду покупать ей — кошельки, перчатки, сумочки, куртки, — будет именно желтым. Кроме кроссовок. Увлекаясь спортом, она потребляла массу кроссовок всех мастей и покупала их только сама. Меня ее страсть к спорту никогда особенно не радовала, и я не уставал повторять, что мне бы больше нравилось, если бы она училась танцевать, чтобы преодолеть некоторую угловатость, которая сохранилась в ней с нежного возраста.

Однако, как ни странно, именно эта угловатость позволила мне сразу узнать ее, и я, чувствуя, что мое горло начинают сдавливать какие-то неведомые, но доброжелательные силы, сумел выдавить из себя лишь:

— Снежинка!

Она, видимо, не расслышала, а я даже не сразу сообразил, что перепутал имя, но когда понял, то для поправок было поздно, поскольку я уже успел сесть в машину време-

ни и переместиться в прошлое, на четырнадцать лет назад, к тому родильному дому, в ту рождественскую ночь.

...Кружил тихий елочный снег, и я, напевая что-то, вот уже несколько часов терпеливо ждал известий оттуда и топтался, прыгал, поколачивал себя, чтобы не замерзнуть окончательно. То, что родится девочка, я был уверен, как та знаменитая бабушка из Давида Кошперфилда, причем с той самой минуты, как был удостоен сообщения, что стану папой.

Сколько я себя помню, мне всегда хотелось дочку. Психоаналитики наверняка объяснили бы это каким-нибудь комплексом. Ну и пусть, на то они и аналитики. А мне просто хотелось хохотушку-златовласку, с которой я буду играть и петь, а когда она подрастет — гордо дефилировать под руку, танцевать и вообще оберегать от разной мрази..

В этой мозаике не хватало только имени. Я твердо решил — ничего заезженного, банального... Нужно было что-то особенное, даже штучное, то, что отличало бы мою девочку от всех остальных. Я позволял себе, конечно, неслыханную дерзость, поскольку моя половина будет вне себя от того, что была отделена от процесса имянаречения. Однако я твердо решил настоять на своем и даже, если потребуется, хлопнуть кулаком по столу. Иногда, кстати, у меня это выходило. Но только иногда.

Моя жена вообще не терпела возражений, считая, что ее слово единственно правильное и не допускает двойного толкования, а так называемый плюрализм — это не более чем красивая химера. В коммунистические времена из нее получился бы прекрасный секретарь горкома или, на худой конец, парторг, и стоит только удивляться, как умудрились просмотреть столь ценного кадра. Но вот что касается имени, тут я имею право на инакомыслие.

Словом, творческие муки продолжали терзать меня даже здесь, у роддома.

Вообще-то муки эти я ненавижу, потому что они порядком осточертели мне в редакции, особенно когда надо было

маяться из-за всякой ерунды вроде репортажей о приездах сановных персон, что должно было вызывать у восторженной челяди чувство глубокого удовлетворения. Но тут эти муки воспринимались совсем иначе, чуточку тревожно, но в целом радостно, и мне скорее нравилось мучиться.

Итак, я нервно расхаживал, разговаривал сам с собой, в чем-то себя убеждал, с чем-то спорил и до того dospорился, что полетел в сугроб и получил изрядную порцию снега за шиворот. Другой бы на моем месте стал бы ежиться, ругаться, поносить коммунальные службы и жизнь вообще... А я вдруг начал смеяться, да так радостно, что на меня начали с недоумением поглядывать прохожие.

Я смеялся, потому что знал, как назову дочь. Спасибо падению, минус двадцати, снегу, снежку, тающему на моей спине...

Я назову ее Снежана.

И тут все вдруг разом удивительно совпало, осветилось каким-то чудесным светом, каким-то особенным, неизвестным музыковедам мажором. Спустя несколько минут мне сообщили, что у меня родилась дочь.

Наверное, все это из разряда чудес, свойственных Рождественской ночи. Но самое чудесное состояло в том, что чуть позже произошло второе чудо. Моя жена, уставшая то ли от трудных родов, то ли от собственного авторитаризма, пожалуй, впервые проявила демократический централизм и согласилась на Снежану без всяких оговорок и условий. Как я сейчас понимаю, она это сделала с дальним прицелом, надеясь на скорый реванш.

Так я стал папой Снежаны.

А теперь — уже вновь в настоящем — она стала для меня еще и Снежинкой, в то время как для всех остальных оставалась только Снежаной или, в крайнем случае, Снежанкой.

Вот так мы и стояли на перроне днепропетровского вокзала, обнимая друг друга и чувствуя себя то ли в каком-то вакууме, то ли замороженными во времени... Мимо шли люди,

отстукивали такты поезда, что-то объявляли дикторы, а мы жили в своем измерении, для нас все остановилось, замерло...

Видимо, у нее тоже что-то происходило с горлом — она вроде бы пыталась что-то сказать, но слова застревали в ее гортани, и вместо них я слышал нечто среднее между хрипом и шорохом. Кажется, она плакала, но совсем не исключено, что плакала-то не она, а мое представление о ней, и все слышимые мною звуки были результатом временного искривления моих органов чувств под влиянием сильнейшего стресса.

Мы бы еще долго стояли так, обнявшись, и не замечали никого и ничего, но тут прямо над моим ухом послышался сдержанный, но настойчивый кашель. О том, что здесь должен быть еще и Григорий, я, признаться, как-то успел забыть, а обернувшись, увидел родной голливудовский лик, который дало смешение армянской и польской кровей наших родителей, хотя и крепко потускневший и обрюзгший. По всему было видно, что он чувствует себя не в своей тарелке, не зная, как себя вести, что уж совсем было не в его стиле. Мы неуклюже обнялись, и я наконец сообразил, что пора знакомить.

— Снежинка, это мой родной брат и твой дядя Гриша.

— Гурген (со школьной скамьи я называл его на армянский манер, и он совсем не возражал, поскольку получал дополнительную порцию колорита, до которого всегда был охоч) — это моя дочь и твоя родная племянница Снежана.

Гурген изобразил на лице восхищение — из чего следовало, что порох в пороховницах все-таки еще не иссяк, — после чего они со Снежинкой неуклюже обменялись троекратным целованием. Меня это скорее раздосадовало. Мы с ним всегда были соперниками по женской части и даже в свое время вели счет, кто у кого больше отобьет девиц. Преимущество неизменно было на его стороне. Причем подавляющее.

Кроме женщин Гурген любил генетику, пиво и поговорку «Своего г... не перетаскать», которую, как я полагаю, при-

думал он сам, но тем не менее выдавал за народную. После двух катастрофических женитьб и устав от перетаскивания своего «г...», он, по его же собственным словам, послал все и всех и уехал в Днепропетровск. Здесь он отдавал свои силы повышению урожайности зерновых и зернобобовых, постепенно дичая, матеря, плесневея и превращаясь в полного мизантропа в своей однокомнатной квартире, полученной от НИИ, где трудился.

Собственно, едва ли не все мужчины в нашем роду были склонны к мизантропии, хотя Гурген был по этой части самой колоритной персоной. Жены убежали от него в связи со склонностью мужа на все смотреть мрачно, поскольку больше всего ждали от жизни радостей и острых ощущений, а Гургена к любителям перченого было никак не отнести. Ему нужна была, как он выразился, «тихая домашняя сволочь, которую сейчас невозможно отыскать, поскольку все тихие домашние сволочи уже давно превратилась в громких».

Тут я готов был с ним, пожалуй, согласиться.

По случаю моего приезда он усмирил свойственную ему прижимистость и разорился на лихача. Я не лишил себя удовольствия высказать ему по этому поводу восхищение. В ответ он что-то буркнул и, взяв обретенную племянницу под руку, чем вызвал мое крайнее неудовольствие, галантно открыл для нее переднюю дверцу такси. Племянница послушно села.

Сказать, что мы со Снежинкой были похожи, — равносильно тому, что не сказать ничего. Мы были одним лицом. На трюмо в прихожей, служившим чем-то вроде персонального капища моей жены, были выставлены наши со Снежинкой фотографии в четырехлетнем возрасте. Это было еще до того, как все мои снимки дружно повывлетали из альбомов, кляссеров, книг, ящичков и прочих хранилищ, и все, кто приходили к нам, видя это поразительное сходство, издавали дружное кудахтанье.

Моя жена изображала по такому делу удовольствие, хотя, будучи по природе болезненно ревнивой, в глубине души была крайне уязвлена жестокостью природы, поскольку знала, что второго ребенка у нее не будет, а потому узурпировала власть на Снежанку, чем, как я полагаю, компенсировала свою уступку по части имени.

Моя жена чем-то напоминала Ребекку из знаменитого романа Дафны дю Морье. Она удивительно тонко умела располагать людей своим анфасом, где сахара было, пожалуй, даже больше, чем нужно, притворной участливостью и набором расхожих, припасенных для каждого подходящего случая фраз, ловко скрывая за этим искусно созданным образом болезненное тщеславие и эгоизм. Я не виню людей, попавших под влияние ее чар. В свое время я сам пал жертвой этих иллюзий, да так, что мне срочно потребовалась помощь невропатолога.

Она служила переводчицей в отделе работы с иностранными специалистами одного из столпов отечественной индустрии, что придавало особый колорит моей семейной жизни. В нашем доме вечно торчали ее товарки, такие же изустные толмачи, в чьих личных делах она была как в родной стихии, старалась принимать в них живейшее участие. Поначалу я списывал эту совершенно не нужную, на мой взгляд, активность, на куриные женские мозги. Но чем

глубже я вникал в сей процесс, тем сильнее убеждался в том, что это результат вполне осознанной политики, имеющей цель создать собственную камарилью, где она была бы тонким и единственным кукловодом.

Если на первых порах ее не в меру кипучая деятельность на личных фронтах незамужних переводчиц казалось мне забавной и даже милой, то со временем стала обременительной, а потом и просто кошмарной. Девоньки не только имели свойство дружно терять головы из-за посланцев развивающихся стран социалистической ориентации, но и почитали за долг посвящать в таинства своих сердечных троп душеприказчицу, которая была бесконечно рада за подруг и без конца принимала в нашем доме новоявленных Ромео и Джульетт, тем самым поощряя и стимулируя амурсы.

Водевили ставились по одному сценарию.

Действие первое. Наша квартира. Действующие лица: исходящая чувствами подруга, ее молодой кабальеро и мы с женой. Поют Азнавур и Дассен. Пьем за любовь.

Действие второе. Лица те же. Азнавур с Дассеном уже не поют. За любовь, конечно, пьем. Но обстановка напряженная: Ромео возвращается на родину, но клянется вернуться, чтобы забрать любимую к пальмам и Лазурному побережью.

Действие третье. Лиц теперь трое. Джульетта и мы с женой. Вместо фужеров с шампанским — платочки и элениум, а вместо тоста за любовь — возмущенный возглас моей половинки: «Какой подлец!..».

Абсолютным чемпионом этого любовного конкурса была некая Вика Шуглазова, умудрившаяся одновременно терять голову из-за нескольких посланцев Западного полушария и неизменно грозившая начать пилить себе вены после крушения очередной надежды на пальмы и Лазурное побережье (тогда я даже предположить не мог, какую отвратительную роль она будет играть в моей жизни). Жена, как могла, пыталась уберечь ее от рокового шага, и Вика почему-то неизменно соглашалась с ней. Исключением из правила

стала вновь принятая в отдел, а потому неискушенная в таинствах переводческой деятельности Маша Потехина, которая — после того, как объект ее воздыханий без остатка растворился на Карибах — начала копить деньги, чтобы пересечь Атлантику, явиться к нему в дом и при всех дать по морде.

В этой обстановке я все сильнее начал себя чувствовать глупой декорацией, частью антуража, некой безликой персоной, нужной лишь для вида, причем персоной не обязательно со знаком плюс. Глава семейства из «Морали пани Дульской» Габриэли Запольской произносит одну-единственную фразу в течение всей довольно продолжительной пьесы — «А пошли вы все к чертовой матери». Как хорошо я начинал его понимать.

Как-то воротившись с работы и застав привычную сцену — рыдающую Вику и успокаивающую ее жену, я вдруг начал орать, что со всем пониманием отношусь к помощи развивающимся странам и отдаю должное той гигантской работе, которую для этого проводит СЭВ. Однако побочные явления этой созидательной деятельности мне до предела осточертели, и потому еще одна такая мелодрама — и у меня поедет крыша, а это совершенно недопустимо, поскольку я должен кормить семью.

Мне было велено молчать.

И я молчал. Все больше уходил в себя, оставляя ниши только для дочери и Облака, прелестного собачьего ублюдочка, которого однажды подобрал в подворотне под проливным дождем. Нам втроем было неплохо, и мы читали Корнея Чуковского.

Больше всего Снежанка любила «Федорино горе», когда я попеременно изображал Чайник, Утюг и Корыто. Особенно мне удавалась песня Федоры, которую я исполнял, изображая *bel canto*. Моя жена тотчас же вдавалась в пространные рассуждения об особенностях некоторых мужчин, любящих изображать из себя идиотов, а Снежанка в восторге

прыгала по кровати, не обращая внимания на требования матери прекратить скакать.

Бунтарский дух и непокорность нрава она проявляла с ранних годков и, как настоящий игрок, шла до конца, хотя и знала, что может влететь. Влетало, конечно, от матери, мне же каждый шлепок был ударом под дых, а обожавший ее Облако лез под кресло, из-под которого торчал лишь его перепуганный нос.

Как-то, выйдя из ванной, Снежана поскользнулась и села в лохань с грязной водой, которой жена мыла полы, и, перепугавшись, устроила жуткий рев, а мать не нашла ничего лучшего, как дать ей крепкого тычка. Тогда Снежанка взяла грязную тряпку и шваркнула ее на знаменитое в переводческих кругах испанское покрывало, которое восстигалось по особым случаям, что всегда напоминало мне торжественный вынос хоругвей в православные праздники. Теперь уже ревели обе, а я, пытаясь восстановить спокойствие, путался в юбках и накалял обстановку еще сильнее. Жена кричала, что ребенок, чувствуя мою поддержку, ведет себя совершенно безобразно, а я отвечал, что это его естественная реакция на родительский диктат.

В последнее время скандалы между нами происходили все чаще, и я понимал, что, несмотря на временные затишья, моя семейная жизнь катится к логичному финалу и требуется какой-то пустячок, чтобы все наконец полетело в тартарары. И он, как по заказу, вышел.

Однажды я поленился пойти на корпункт и строчил корреспонденцию об очередном совещании в среде городского начальства дома. Тем временем Снежанка вместе с мамой репетировала стишок, который ей предстояло прочесть на утреннике в детском садике: «Серый волк в глухом лесу встретил рыжую лису». Ребенок добросовестно повторял эти совершенно невинные строки, пока наконец они не начали бить мне кувалдой по мозгам и я не крикнул — «изнасилвал лису!»...

— Идиот, — завопила мама. — Это же магнитофон.

Она периодически называла меня «идиотом» в присутствии дочери, совсем не думая, что перед ней магнитофон. Но как бы то ни было, а кнопка «Запись» была отжата в ту минуту до предела, и мое дите под полный восторг мужичья и к ужасу дам звонко, с выражением, кокетливо держа платье по краям, продекламировало: «Серый волк в глухом лесу изнасиловал лису».

Заведующая детсадом устроила жуткий скандал воспитательнице, та в свою очередь моей жене, совершенно не привыкшей к такому обращению и по такому случаю накалившейся до предела, а громоотводом, конечно, стала Снежанка, которую она начала истязать, не успев привести домой.

— Не смей! — заорал я, видя, как ребенок, не понимая, за что его бьют, тянет ко мне ручонки, прося защиты. — Не смей, слышишь! Это моя вина. Она не знает, что такое «изнасиловать»!

И переждав несколько мгновений, добавил:

— Зато хорошо знаешь ты!

С моей стороны это была неслыханная дерзость.

— Пошел вон! — с каменным лицом приказала моя жена.

Когда она была во гневе, то весь ее показной лоск мгновенно куда-то исчезал и на поверхность всплывало все то грубое, посконное, сермяжное, что глубоко гнездилось у нее внутри и чего не могли скрыть ни модные тряпки, ни изысканная косметика, ни красивые слова. Когда я осмеливался перечить ей по минимуму, она начинала бегать по комнате и требовала снять напряжение, а ее товарки умоляли меня не третировать святое существо. Когда же я позволял себе максимум, то меня сразу же обращали в скота.

— Тебе же сказано идти вон...

Эту ночь я впервые ночевал на корпункте.

На приезд любимого брата Гурген приготовил салат из крабов, фаселевый суп и димламу. Скромные доходы побудили его повернуться лицом к кулинарии, в чем, как я имел возможность позднее убедиться, он добился немалых успехов. И сейчас он деловито сновал с поварешкой из кухни в комнату и обратно, да еще врубил на полную катушку «Миллион алых роз». А я сделал то, о чем мечтал всю жизнь — пригласил танцевать свою дочь.

Танцевала она неважно, в чем я убедился даже не без некоторой доли торжества, поскольку мечтал учить танцевать ее сам. Что-то мешало ей хорошо слышать музыку, двигаться в такт и вообще быть пластичной. Танцуя, я исподволь присматривался к ней, пытаюсь понять, много ли в ней сохранилось от той оставшейся в моей памяти Снежанки. Теперь она уже не походила на меня так сильно, как в нежном возрасте. Черты лица ее удлинились, утратив округлость, а чуть оттопыренная нижняя губка придавала ей обиженное выражение, хотя когда она улыбалась, это мгновенно исчезало и вместо обиды появлялась прелестная обезоруживающая смешинка. Больше всего мне нравились ее волосы, мягко ниспадавшие на плечи и лишенные современных изысков. В ней было что-то блоковское, символистское. Она хорошо представлялось в длинном платье и в широкой шляпке, сидящей в беседке с нотами прелюдий А. Скрябина в руках.

Я заметил, что и Снежинка наблюдает за мной, стараясь, чтобы ее любопытство было незаметным. Для своего возраста она была слишком молчаливой и практически ничего не говорила о себе. Я пытался объяснить ее скрытность особенностями обстановки, хотя вряд ли это предположение было справедливо полностью.

— Мама знает о моем приезде?

Она взглянула на меня в полнейшем испуге, и трудно сказать, какими бы были ее слова, если бы не возник Гурген с супницей...

Странная все-таки была эта встреча трех людей, состоящих в ближайшем родстве, но знающих друг о друге не так уж много или почти ничего. Попытайся разобраться сейчас, какая черная кошка пробежала между мной и братом, и не понять ведь. Тем не менее мы не знались около десяти лет и сейчас как бы заново узнавали друг друга. Со Снежинкой я не виделся четырнадцать лет, что же касается Гургена, то о существовании племянницы он знал только понаслышке, она же о дяде не знала ничего и вряд ли сознавала ту роль, которую играла сейчас в этом тройном воссоединении. Каждый из нас пытался понять, как себя держать, поскольку такая ситуация вряд ли учтена хотя бы в одном пособии по застольному этикету, а импровизация в таких делах— искусство очень непростое.

Трапезничали поначалу молча. Суп из красной фасоли был вполне приемлем, а вот в димламе был откровенный перебор чеснока, о чем я не преминул заметить Гургену, на что тот попытался ответить известным мерзким анекдотом, но я успел опередить, многозначительно кивнув в сторону Снежинки.

После второй обстановка смягчилась. Поднимали тосты за общую встречу, потом за встречу каждого с каждым. Водка была едкой и жесткой, вся в альдегидах. Запивали пивом. Это мы с Гургеном. Снежинка осторожно отхлебывала «Абрау-Дюрсо» и продолжала молчать.

Наконец Гурген встал, подошел к племяннице и стряхнул пушинку с ее левого плеча. Я заметил ему, что это все-таки моя дочь, и стряхнул пушинку с ее правого плеча. Гурген возразил, что тополями усажена вся округа (район Днепропетровска, где он жил, так и назывался «Тополя»), поэтому работы на всех хватит.

Потом на всю мощь врубил Гимн Советского Союза и открыл двери на балкон. Он утверждал, что именно децибелам мы обязаны своими дебилами, и потому не стоит мешать росту их поголовья, которое в конце концов само себя

изживет. Тут же с нижнего этажа ему громко напомнили о суверенитете державы, на что Гурген заметил, что ему чихать на все эти суверенитеты, многопартийность и демократию, а свобода слова для него — одна, говорить с балкона все, что думает. Из окна третьего этажа пригрозили милицией...

* * *

Я проснулся на раскладушке и понял, что сейчас умру. В голове были отбойные молотки, язык был деревянным и прилип к гортани, желудок подъезжал к горлу и поминутно грозил все вывалить. На столе было вальпургиево утро. Снежинка спала на гургановом лежаке. Гурген почивал на кухне, швырнув грязный тюфяк прямо на пол.

Я отхлебнул пива, почувствовал кое-какое облегчение и, увидев, что Снежинка проснулась, сел на край лежака.

— Прости меня...

— За что, папа?

— За вчерашнее. Не помню, когда я в последний раз так напивался...

Это было самое честное раскаяние в моей жизни.

— Тебе трудно вчера было, папа, и мне, и дяде Грише. Нам всем было трудно. Каждому по-своему...

А это была уже самая продолжительная фраза, которую Снежинка до сих пор произнесла.

И тут произошло нечто совсем непредвиденное. Конечно, я собирался заняться съемками, но только не с утречка. Увидев в моих руках «мыльницу», Снежинка завопила:

— Ой, дай хоть причесаться!

— Потом причешешься...

Затвор щелкал не переставая. Каждый снимок и сейчас казался мне на вес золота. Снежинка проснувшись... Снежинка за утренним кофе... Снежинка с расческой... Сне-

жинка с косметичкой... Снежинка, Снежинка, Снежинка, Снежинка...

Она уже смирилась с участью, не перечила, но позировала с таким видом, будто собирается на Голгофу. Я не обращал внимания на несчастные мины и продолжал суетиться с азартом скупца, дорвавшегося наконец до золотой россыпи.

Она не знала, что последние годы прошли для меня под знаком добывания хотя бы одной ее фотографии. Я соглашался на любой снимок подростковой Снежинки. Мне обещали, требовали предоплату, чаще всего в виде нескольких бутылок водки, назначали встречи и не приходили. Я понимал, что надо мной издеваются, но ничего не мог с собой поделывать. Это было что-то вроде наркотика.

На мое счастье, клан ее матери, воздвигший между нами непреодолимую стену, крепко задолжал телефонной станции, и шурин Снежинки Вася — идеальный типаж полового в чайной — прибежал ко мне на работу и, прижимая руки к тому месту, где по его разумению должно находиться сердце, со слезами на глазах начал клянчить деньги. Мужская половина этого семейства вообще попрошайничала с необычайной легкостью, ну а я вообще действовал на них, как на собак физиолога Павлова знаменитая лампочка. Долги не возвращали, впрочем, я и не настаивал, надеясь все-таки купить нужную мне информацию.

— Будет фотография, будут деньги, — отрезал я Васе.

Как мне стало известно позже, снимок трактирный служка выкрал из семейного альбома, что было, кстати, вполне в его стиле. Что до моей бывшей, то она выразила крайнее недовольство как самим воровством, так и тем, что у меня есть теперь фотография дочери, поскольку даже теоретически не допускала наших с ней несанкционированных контактов. Пусть даже таких..

Помню, я ел глазами размытое отвратительной печатью личико дочери, пытаюсь понять, она ли это... На снимке ей

было лет одиннадцать. Белое праздничное платье, взгляд — напряженный, искусственный, казалось, она пыталась сказать что-то, старалась подобрать нужные слова и не могла.

И вот теперь я, никем не сдерживаемый, бегал с камерой, запечатлевая десятки Снежинок, будто они кружили в воздухе, как в ту ночь, когда она родилась.

Вошел Гурген с тем выражением, которое бывает только после сильнейшего перехвата, и, увидев последствия вчерашнего, пробурчал свою любимую поговорку про «г», а поскольку она полностью соответствовала действительности, я решил его не перебивать, Снежинка же сделала вид, что не слышит.

Я тут же зачихал в его непонимающие руки мыльницу, и фотолихорадка продолжилась еще интенсивней. Теперь были снимки мои со Снежинкой, мои с Гургеном, Гургена со Снежинкой. Фотографируясь, Гурген попытался поцеловать племянницу в губы, но та ловко увернулась, а я показал брату кулак и в ответ услышал его фирменное ругательство: — Дурак, набитый собаками...

Оно применялось по самым разным поводам и имело широкий спектр значений— от горячего одобрения до безоговорочного осуждения. Что имел в виду Гурген в данном случае, я так и не сообразил, поскольку понять его без специального фразеологического словаря, где был бы отражен весь спектр значений этих неологизмов, подчас было практически невозможно. Хотя, признаться, меня сейчас больше беспокоила проблема, принадлежащая к категории скорее земных и даже житейских, если под ними понимать заковыки, возникающие в ходе изучения особенностей жизни посредством обыденного познания ее гримас.

Я уезжал в обстановке строжайшей секретности. О цели поездки знал только главный. Для остальной части редакции я был в командировке. Готовясь в дорогу, я тщательно «законопатил все щели», вплоть до приятелей и соседей, а уже в вагоне осторожно осматривал из окна перрон, стра-

шась увидеть Вику Шутлазову или кого-то из той компании. Они мерещились мне из-за каждого угла. Если кто-то мне скажет, что это было уже на грани мании преследования, то я отвечу, что хотел бы знать, как бы в этой обстановке на моем месте вел бы себя любой другой незадачливый папаша, окруженный не в меру ретивыми матронами, отслеживающими любой его шаг. Даже после того, как поезд пересек мост через Днепр, я не был полностью уверен в своем инкогнито.

Но любопытствовать еще раз по поводу того, знает ли мама о моем приезде, я не хотел, чувствуя, что вопрос Снежинке неудобен, а дискомфорт был нам сейчас совсем ни к чему...

Словом, познание гримас продолжалось.

Я, наверное, до гробовой доски не пойму, какие преимущественные права на ребенка имеет перед отцом мать. Нет-нет, я не о правовой стороне дела. Тут обух плетью не перешибешь. Я — о той же, о житейской...

Если небеса нам говорят плодиться и размножаться, тогда почему эти самые небеса безучастно взирают на все происходящие в связи с размножением несчастья? Почему мужчина должен часами мокнуть в подворотнях, чтобы хоть на мгновение увидеть свое дитя, почему женщина считает себя вправе диктовать свои условия и порядок контактов с ребенком и откровенно издеваться над человеком, который был ее мужем и благодаря которому у нее этот ребенок есть?

Нет, не все в порядке со справедливостью на небесах.

...После того, как я переселился вместе с Облаком на корпус (у моей жены, разумеется, была масса разных заболеваний, не позволявших ей выгуливать собаку), мне были установлены жесткие дни и часы свиданий с дочерью: пятница — с шести до восьми вечера и воскресенье — с часу до трех. Тем не менее график подчеркнуто нарушался, особенно в пятницу, когда к жене непременно приходила одна из ее товарок, которой просто не терпелось поиграть со Снежанкой. Мне при этом иезуитски говорили, что придется подождать, и я ждал, но товарка неизменно засиживалось, мое время иссякало, и ребенку было пора в кровать.

Это продолжалось несколько месяцев, пока я наконец в ультимативной форме не заявил жене, что если унижения не прекратятся, то пусть подает на алименты и стоит в общей очереди на почтамте. Это был сильный ход. Она не допускала мысли, что может быть даже теоретически приравнена к другим получательницам пособия, а потому режим был смягчен, и я встречался с дочкой в установленные часы почти беспрепятственно.

По воскресеньям я уводил ее корпункт, где мы развлекались тем, что Снежанка сочиняла рассказы про нас, а я их сохранял в машинописи. Я тогда уже чувствовал, что дней моих с дочерью осталось уж немного, и пытался сохранить как можно больше памяток, вплоть до двух молочных зубиков. Я не боюсь показаться сентиментальным. Мне нечего бояться.

Мои предчувствия подтвердились, когда спустя некоторое время жена известила меня об очередной заграничной командировке, что было чревато переселением Снежанки в тещину квартиру, как обычно в периоды вояжей моей половины в страны солнца, «Тропикан» и диковинных попугаев.

В последнее время они учащались со стремительной быстротой, но если на начальном этапе нашего супружества я переносил разлуки довольно тяжело, то теперь не только не тяготился ими, а, напротив, скорее приветствовал, поскольку получал передышку от ее подруг, их бойфрендов и от нее самой, тем более что от командировки к командировке ее самовлюбленность росла, а отношение ко мне становилось все более высокомерным и нетерпимым.

До переселения на корпункт единственное, что меня угнетало в этой командировочной стихии, — необходимость ходить к тестю с тещей, чтобы увидеть дочь. Для меня в ту пору не было ничего страшнее, чем оказаться в этой компании.

Во-первых, я ненавижу рыбалку, особенно зимнюю, которую считаю совершенно идиотским занятием. Однако кроме как об особенностях клева подлещиков и о советских книгах про шпионов мой тесть говорить ни о чем не хотел и не мог. Когда я оказывался среди этой оравы, он выбирал собеседником почему-то меня, и приходилось терпеть.

Во-вторых, я не выношу застолий и связанных с ними задушевностей, поскольку никогда не был большим любителем пускать к себе в душу посторонних. Нет, я не считал себя в ту пору слишком уж закрытым человеком, однако когда эти «душелазы» оборачивали мои откровения против меня же, первое мое желание было дать в морду. Застолья

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru